



Антон Павлович Чехов

**Актёрская гибель**  
(Рассказы)

Антон Павлович Чехов  
АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ

**Б**лагородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, «вдрызг» поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то обрвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил восвояси. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду.

Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до двух часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.

— Ты что же это, Шут Иванович, на репетицию не приходил? — набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара. — Где ты был?

Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами.

— Хоть бы рожу-то вымыл! — продолжал Сигаев. — Стыдно глядеть! Ты натрескался или... болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты болен?

Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и всё громадное тело верзилы-простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.

— Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен! — встревожился он. — Накажи меня бог, ты болен! На тебе лица нет!

Щипцов молчал и уныло глядел в пол.

— Это ты простудился! — продолжал Сигаев, беря его за руку. — Ишь какие руки горячие! Что у тебя болит?

— До... домой хочу, — пробормотал Щипцов.

— А ты нешто сейчас не дома?

— Нет... в Вязьму...

— Эва, куда захотел! До твоей Вязьмы и в три года не доскачешь... Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгнили и могилок их не сыщешь...

— У меня там ро... родина...

— Ну, нечего, нечего мерлехлюндию распускать. Эта психопатия чувств, брат, последнее дело... Выздоравливай, да завтра тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть. Больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегаю и куплю.

Комик пошарил у себя в карманах, нашел пятиалтынный и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся.

— На, пей! — сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку. Пей прямо из пузырька... Разом! Вот так... На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла.

Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру

забежал к Щипцову jeune-premier[1] Брама-Глинский. Даровитый артист был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа, но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных...

— Ты, я слышал, заболел? — обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке. — Что с тобой? Ей-богу, что с тобой?..

Щипцов молчал и не шевелился.

— Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? Ну, молчи, не стану приставать... молчи...

Брама-Глинский (так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым) отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами растянулась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжиз-

ненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.

— Домой надо! — услышал jeune-premier.

— Куда это домой?

— В Вязьму... на родину...

— До Вязьмы, брат, тысяча пятьсот верст... — вздохнул Брама-Глинский, барабанил по стеклу. — А зачем тебе в Вязьму?

— Там бы помереть...

— Ну, вот еще, выдумал! Помереть... Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла... Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До ста лет проживешь... Что у тебя болит?

— Ничего не болит, но я... чувствую...

— Ничего ты не чувствуешь, а всё это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дербалызнуть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтоб во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает... Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно! Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил да потом еще за ромом послал... Допился до того,

что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить...

Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось и глаза заблестели.

— А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? — забормотал он, поднимая голову. — Да что говорить! Бил я на своем веку тридцать трех антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомяну. И каких антрепренеров-то бил! Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! Двух знаменитых писателей бил, одного художника!

— Что ж ты плачешь?

— В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек пятнадцать, Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдай шапку!» Такие-то дела.

— Что ж ты, дурило, плачешь?

— А теперь шабаш... чувствую. В Вязьму бы ехать!

Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у

него был расстроенный.

— Прощай! В Вязьму еду! — проговорил он покачиваясь.

— А деньги на дорогу?

— Гм!.. Я пешком пойду!

— Ты ошалел...

Оба взглянули друг на друга, вероятно, потому, что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль — о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.

— Нет, ты, я вижу, спятил! — решил Jeune-premier. — Вот что, брат... Первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну, и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?

Брама-Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее на счет кредита: авось, баба сжалится — отпустит в долг! Jeune-premier отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат, сидел он потом за столом и пил чай

с коньяком; машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Jeune-premier укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел.

Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок, потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять, прибежал антрепренер Жуков.

— Что это вы, ангел, хворать вздумали? — закудахтал он, морща нос. Ай, ай! Нешто при вашей комплекции можно хворать? Стыдно, стыдно! А я, знаете, испугался! Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели! Ведь и вы меня, тово... И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали и... с кулаками даже лезли, а я вас люблю! Ей-богу, люблю! Уважаю и люблю! Ну, вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Не родня вы мне, не сват, не жена, а как узнал, что вы прихворнули, —

словно кто ножом резанул.

Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал.

Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос... Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие:

— Знаешь что, Мифа? — спросил он, произнося в нос вместо ш — ф и придавая своему лицу таинственное выражение. — Знаешь что?! Тебе нужно выпить касторки!!

Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно, с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле бы-

ло десятка два банок и несколько пузырьков.

— Послали б за мной, и я б вам давно банки поставил! — сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. — Запустить болезнь не трудно!

Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками.

— Да-с... — говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обагренные кровью Щипцова. — Прислали бы за мной, я и пришел бы... Насчет денег беспокоиться нечего... Я из жалости... Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Таперя вот извольте капель этих принять. Вкусные капли! А таперя извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вот так! На здоровье! Ну, а таперя прощайте-с...

Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился.

Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло.

— В Вязьму! — зашептал он, увидав комика. — В Вязьму!

— Вот это, брат, уж мне и не нравится! — развел руками комик. — Вот... вот... вот это, брат, и нехорошо! Извини, но... даже, брат, глупо...

— В Вязьму надо! Ей-богу, в Вязьму!

— Не... не ожидал от тебя!.. — бормотал совсем растерявшийся комик. Чёрт знает! Чего ради расквасился! Э... э... э... и нехорошо! Верзила, с каланчу ростом, а плачешь. Нешто актеру можно плакать?

— Ни жены, ни детей, — бормотал Щипцов. — Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить! Пропала, Семен, жизнь! Ох, в Вязьму бы!

— Э... э... э... и нехорошо! Вот и глупо... подло даже!

Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и проч., но тот не слушал и всё бормотал про Вязьму... Наконец, комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму.

— Хороший город! — утешал он. — Отлич-

ный, брат, город! Пряниками прославился. Пряники классические, но — между нами говоря — того... подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того... Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит!

Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой.

К вечеру он умер.

# Примечания

# 1

первый любовник (*франц.*).

[^^^]